

Александр Степанович Грин

# Серый автомобиль



# Александр Степанович Грин

## Серый автомобиль

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=271602](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=271602)*

### **Аннотация**

По «мотивам» был снят фильм «Господин оформитель».

# Содержание

1	4
2	12
3	16
4	18
5	27
6	32
7	38
8	40
9	47
10	54
11	62

# Александр Грин

## Серый автомобиль

### 1

16 июля, вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаюсь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.

Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:

– Что с вами? Вы так рассеянны. Я ответил:

– Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного

спокойствия.

Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:

– Когда окончите вы ваше изобретение?

– Это тайна, – сказал я. – Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.

– Что это значит?

– Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.

– Тысяча вторая загадка Эбenezера Сиднея, – заметила Коррида. – Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?

– Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют прозойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.

Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, ли-

цо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец, она сказала:

– Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?

– Нет, – сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил:

– Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. – Я едва не сказал: «эти машины», но предпочел более общее уклонение.

– Но почему?

– Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии, – сказал я, – я вызвал веселый, слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.

– Решительно вы озадачиваете меня. – Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом. – Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к... к... экипажу. – Она рассмеялась. – Прощайте.

Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве – она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще.

Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее. Но я уже дал слово не лгать, так очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утомила меня.

Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струёй ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек, – заныл, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках.

Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько деталей моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал.

Это был скверный театрик третьего разряда, с грязным экраном и фальшивящей пианолой. Она разыгрывала трескучие арии. Картина, каких много – тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для ее развития затрачено столько энергии, – непрерывного, мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления – все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения

зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление, – так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие, при всем том, было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет.

Между тем, – частью рассматривая содержание картины, я обратил другую, большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль – ландо. Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить – видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающий поставленную на катушки калошу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежовый мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо, – и однако я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений, у меня не было никаких зрительных указаний – никаких примерно индивидуальных черт мотора, но его цифр С.С.77-7, – некогда – я остро чув-



ствовал это – имела связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как ни тщился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабое ощущение его минувшей значительности.

Однако этого не могло быть. Фильма вышла из американской фабрики, и съемка различных ее сцен была произведена, судя по характеру улиц, в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными; я же не выезжал из Аламбо лет пять и никогда не был в Америке. Следовательно, мнимое воспоминание было не более как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, – этот автомобиль с этим шофером я видел.

Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало– или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымазанные клеем листья, – каждое движение прочь ловит и связывает ее крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни – всего, что так или иначе угрожает. Самые разумные усилия приводят здесь к новым доказательствам, возникающим из пустоты. Уверенность того рода, какой я проникся в кинематографе, не имела ничего пугающего или неприятного, если не считать моего отвращения к автомобилю, но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою.

Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей

чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно, смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой... Но автомобиль С.С.77-7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец, он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень – воображенное продолжение движения – рискнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж.

Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта, может быть – верное указание одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу – если понадобится – действия, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толчку – словно на меня пристально обернулся кто-то – я прочел аршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр.

Название гласило:

# **СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ**

**Мировая драма в 6.000 метров!**

**Лучший боевик сезона!**

**Масса трюков!**

## 2

Нечто весьма неприятное вошло в меня, как будто мне наступили на ногу, нагло рассмеявшись и продолжая подсмеиваться за спиной. Поспешно я отошел, стараясь быстрой ходьбой и мелкими уличными наблюдениями разогнать скверное настроение, но оно медленно уступало моим усилиям, ловя каждую паузу размышлений, чтобы опять поставить, на некотором расстоянии впереди меня, слова «серый автомобиль». Хотя так как я прошел два квартала, графическая отчетливость букв исчезла – их заменил звук, казалось, эти два слова повторял кто-то далеко, тихо и тяжело. Я всегда избегал алкоголя, обращаясь к нему лишь в исключительных случаях, но теперь почувствовал необходимость выпить чего-нибудь.

Как известно, улица современного города подстерегает каждое желание наше, спеша удовлетворить его всегда кстати подвернувшейся вывеской или витриной. Я совершенно уверен, что человек, проходя фруктовыми рядами Голландской Биржи и почувствовавший нужду в каком-нибудь геодезическом инструменте, непременно увидит инструмент этот в окне неведь откуда взявшегося специального магазина.

Вино караулит нас в самых, казалось бы, для того непригодных местах. Что может быть вино убыточнее глу-

хого угла между стеной Географического Института и Бульвара Секретов, где даже днем так густы тени огромных деревьев, что вся стена пахнет прохладой и сыростью; там почти нет эпилептического уличного движения, брызги которого разлетаются по бесчисленным ресторанам, звеня золотом и посудой. Однако, огибая этот угол, я увидел небольшую каменную пристройку, которой либо не было ранее, либо я не замечал ее. Эта пристройка, на два окна со стеклянной дверью меж ними, была маленьким рестораном, окруженным трельяжем, и я сел за стол у двери в качалку.

Здесь было немного посетителей. Смотря через окно в помещение, я увидел двух толстяков, играющих в домино, дремлющего, протянув ноги, пароходного механика с опущенной со стола кистью руки, в которой еле дымилась готовая упасть папироска, и трех закинувших нога на ногу женщин; они курили, забрасывая лицо вверх и выпуская дым медленными, однообразными кольцами.

Лакей подал ликер. Это был особенный травяной экстракт, очень крепкий. Я выпил две рюмки, выпил, помедлив и оставив графин, третью.

Действие не замедлило сказаться. Я ощутил ровную теплоту и точный ритм момента, быть может, определяемый скоростью биения сердца, может быть – пульсом внимания, интервалами его плавно набегающей остроты; мышление протекало интенсивно и бодро. Выпив, я рассмеялся над своим недавним волнением, прислушиваясь к свистящему

по временам шелесту шин, с ясным сознанием, что меж мной и серым 77–7 не может возникнуть никакой связи, что ее нет. Уравновешенно остер и точен был я в тот момент в каждом отчетливом впечатлении своем – состояние, дающее ни с чем не сравнимое удовольствие, и я пользовался этой минутой, чтобы обдумать некоторые моменты моего изобретения.

Коррида Эль-Бассо, женщина неизвестной национальности – я говорю это смело, так как имею для того веские основания, – была заинтересована моим изобретением из вежливости. От меня зависело превратить эту форму чувства, эту пустую приятную улыбку, вызванную хорошим пищеварением, в чувство, быть может, в страсть. На это я не терял надежды. Но я должен был поразить и тронуть ее сразу, врасплох, может быть, в такую минуту, когда мое присутствие ею будет только терпимо. Когда наступит момент, изобретение – или вернее, то о чем она думает, как об изобретении – встретит ее всем блеском и обдуманностью крайней, болезненной, всеохватывающей решимости, – оно вызовет глубокое и яркое возрождение. Тем лучше. Тогда я узнаю истинную природу женщины Корриды Эль-Бассо, которую полюбил. Я увижу, есть ли другой оттенок в ее лице цвета желтого мела. Я услышу, как звучит ее голос, говоря «ты». И я почувствую силу ее руки, – ту особенную женскую силу, которая, переходя теплом и молчанием в наши руки, так электрически замедляет дыхание.

Удобно покачиваясь, я был мысленно в своей «лаборато-

рии», в ущелье Калло, окрещенном так, вероятно, родственником знаменитого художника или его поклонником. На мое плечо легла легкая нервная рука: не оборачиваясь, я знал, что это Ронкур. Действительно, он сел против меня, спрашивая, что я делаю здесь?

– Отличное место для свидания, – прибавил он, – или для самоубийства. Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре, одиночество и вино. Сидней, я иду в казино Лерха, там сегодня состоится оригинальное состязание. Это в вашем вкусе. Вы слышали о необыкновенном счастье мулата Гриньо? Вот уже третий день, как он выигрывает непрерывно в покер, собрав, кроме золота и драгоценностей, целый том чеков. Хотите посмотреть на игру? Там толпа.

Лучшего предложения мне не мог сделать никто. Отлично, если в сложном узле жизни, трудясь над ним, выберете вы отдыхом интересный спектакль, еще отличное, если представление возникло самостоятельно, если вам предстоит развязка подлинного события с хором, статистами и неподдельной экспрессией главных героев сцены. Ронкур взял меня под руку и увел.

### 3

Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально белеет мраморная Афина-Паллада. У озаренных ступеней, сходящих веером к скверу, толпятся продавцы кокаина, опиума и сладострастных фотографий.

Длинная цепь автомобилей стояла здесь по обе стороны мостовой. Время от времени один из них, вздрагивая и гудя, отходил из строя полукругом, взвевал пыль и, пророкотав, исчезал вдаль, каждый раз, как я видел это, у меня поднималось к сердцу ощущение чужого всему, цинического и наглого существа ради цели невыясненной. Обычно продолговатые ямы этих массивных, безумных машин были полны людей, избравших тот или другой путь доброй волей, – но у зрения есть своя логика, отличная от логики отвлеченной. Я иногда не мог сказать сам себе: «Они едут»; я говорил: «Их увозят», наше обычное знание внутреннего, общего для всех темпа не могло слить этот темп с неестественной быстротой среди явлений, находящихся по отношению друг друга в испытанном и привычном равновесии. Проходя улицей, я был всегда расстроен и охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой стрекочущими и скользящими с быстротой гигантских жуков сложными сидалищами. Да, – все мои чувства испытывали насилие; не говоря о внешности этих, словно при-



сбившихся машин, я должен был резко останавливать свою тайную, внутреннюю жизнь каждый раз, как исступленный, нечеловеческий окрик или визг автомобиля хлестал по моим нервам; я должен был отскакивать, осматриваться или поспешно ютиться, когда, грубо рассекая уличное движение, он угрожал мне быть искалеченным или смертью. При всем том он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча, подстерегая. С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно, как полагают благодусшные простаки, воспевающие культуру или, вернее, вырождение культуры, ее ужасный гротеск...

– Прочь из четвертого измерения! – сказал Ронкур, видя, что я молча остановился на тротуаре. – Феи покидают вас, так как фонари этого подъезда могут причинить им бессонницу.

Особенностью притона была удручающая, крикливая роскошь, – правильный расчет на бессознательное, – иллюстрация к выигрышу. Мы поднялись среди блестящей заразы голубоватого света и женских тел, взвизывающих на перспективах огромных картин легкие ткани. По коврам, заставляющим терять ощущение ног, мы пробрались через изысканно одетую толпу, под навесы пальмовых листьев; здесь, имея за спиной мраморную группу фонтана, а перед собой – дрожащие руки только что обнищавшего игрока, мулат Гриньо давал блестящий спектакль.

Я встал на возвышение у стены, Ронкур рядом со мной. Так был отлично виден и стол, и лица играющих, – их было семь человек, считая мулата.

У стола волновалась окидывающая пари толпа.

Мулат сидел, расставив локти, с засученными руками сорочки, без сюртука. На его полном, кофейного цвета лице блестел мелкий пот. Черная борода, обходя щеки и подбородок жестким кольцом, двигалась, когда, играя сжатыми челюстями, обдумывал он прикупку или повышение ставки. Он очень часто объявлял «масть» и «фульгент», но часто и пасовал. Две ставки на моих глазах по десять и двадцать тысяч он загреб, показав всего тройку дам, в то время как противник его имел один раз – две пары семерок, второй – трех валетов. Был случай, что на каре он бросил каре с «джокером». Игра шла с «джокером», и я заметил, что «джокер» приходит к нему довольно часто.

Еще подходя к столу, я заметил, как уже упомянул об этом, игрока, бросившего бессильные карты в волнении, выказывавшем окончательный проигрыш. При мне было довольно денег, и я стал следить за игроком, чтобы сесть на его место, если он вздумает оставить стол. Это случилось скоро. Насильственно зевая, игрок встал с бледным лицом, толпа расступилась и вновь сомкнулась, когда он выбрался из ее

сжимающего кольца.

Кресло стояло пустым. Взглянув на Ронкура, ответившего мне хладнокровно одобрительной улыбкой, я занял место, имея мулата прямо перед собой. Он даже не взглянул на меня. Крупье сдал карты;

Мои были лишены масти и далеки от «последовательности», короче говоря, они не представляли никакой силы; однако я не сказал «пас», но, сбросив карты, купил все пять. Теперь образовался фульгент, благодаря «джокеру», пришедшему при покупке. Как известно, «джокер» есть карта с изображением дьявола, – пятьдесят третья в колоде; она имеет условное значение – получивший «джокер» может объявить его любой картой любой масти. У меня были десятка, три семерки и «джокер»; считая его четвертой семеркой, я имел сильную комбинацию из четырех одинаковых, т. е. «каре».

– «Тысяча», – сказал я, – когда пришла моя очередь набавлять. Игрок слева бросил карты, второй сделал то же, третий сказал: «Две». – «Пять», – сказал Гриньо. При втором круге – как это почти всегда бывает, если не объявится не уступающий третий игрок, играющими остались я и Гриньо.

– Десять, – сказал я с миной и азартом новичка, желающего испугать противника. Гриньо тускло посмотрел на меня и в тон мне ответил «сто».

Теперь следовало согласиться на его сумму и открыть карты или назвать еще большую сумму, после чего он мог, если

хотел, отказаться от сравнения карт, лишившись своих ста тысяч без игры. В том же положении был и я. Такова игра покер; двое, не показывая друг другу карт, назначают поочередно все большие суммы, пока кто-нибудь не струсит, опасаясь, что может отдать еще больше, если карта противника окажется сильнее его карт; или же, согласившись на последнюю названную противником сумму, открывает одновременно с ним карты, – чьи сильнее, тот забирает ставки противника и всех других игроков.

Естественно, я не знал, что на руках у мулата. У него сильнее моего «каре» могло быть: «каре» из более крупных карт, чем семерка; затем последовательность пяти карт одной масти, идущих в определенной градации: например, от шестерки к десятке, или от десятки к тузу В этих случаях он выигрывал, если, конечно, не бросил бы карт, испугавшись моего неизвестного, – прими я вид полной уверенности в победе, назначая ставку все большую. Но он мог и не испугаться, и когда, таким образом, мы открыли бы наконец свои карты, оказалось бы, что я сам навязал ему больший выигрыш, чем он рассчитывал получить.

Равным образом его карты могли быть слабее моих, они могли не иметь совсем никакой силы, если на прикупке (он сбросил и прикупил четыре) у него не образовалось даже минимального шанса – одной пары одинаковых карт, – комбинация, на которой, при смелости, вернее, отчаянности, выигрывают иногда большие суммы, если противник, вообразив,

что на него нападают с каре, бросает, быть может, фульгент.

Итак, мы ничего не знали взаимно о силе карт наших. Слышав уже о дерзкой игре мулата, я предполагал вначале с его стороны простой блеф, но величина поставленной им суммы говорила за то, что у него как бы есть основание играть крупно. Мне представлялось три положения: открыть карты, быть может, проиграв, если он сильнее меня; назначить более ста, давая тем возможность Гриньо назначить еще выше назначенного, или бросить игру, уплатив десять тысяч.

Я и собирался уже поступить так, не имея особенных оснований рисковать крупной суммой ради каре из семерок. Я еще раз рассмотрел карты, несколько удивленный тем, что спутался в счете семерок, – их было четыре. Одну из них, именно червонную, я считал десяткой, – почему, этого объяснить я не в состоянии. Таким образом, мой «джокер», – моя пятая карта, которую я мог обозначить, как любую карту, естественно, была пятой семеркой, – предел могущества в покере, – пять одинаковых карт, вещь, случающаяся крайне редко. Имея на руках четыре одинаковых карты с «джокером» в придачу, вы можете обобрать противника до последней копейки, однако при условии, что он тоже имеет сильную карту.

Так я и намеревался поступить. Но следовало ничем не выдать себя, нужно было внушить Гриньо, что у меня, самое большое, – крупный «фульгент» (Две и три одинаковых, две дамы, три шестерки, примерно (Прим. автора)). Услови-

ем такого приема явилось предположение, что я имею дело с картой, не слабее фульгента. Приложив ко лбу указательный палец, я задумался – притворно, конечно, – над своей пятеркой и сжал губы, чтобы показать этим напряженный расчет. В то же время в задачу мою входило, чтобы Гриньо понял, что я притворяюсь, но неискусно; что у меня – пусть он так думает – карта слаба, так как обычно притворное колебание выражают при слабой карте, желая внушить обратное – что карта сильна, это противоречие станет понятно, если я прибавлю, что игрок с действительно сильной картой действует решительно и крупно, в расчете сбить встречный расчет. Короче говоря, действия мои должны были свестись к тому, чтобы вызвать в Гриньо заключение, обратное действительности. И я начал с долгого колебания.

Теперь, когда он, по-видимому, думал, что я притворяюсь с слабой картой, надо было показать иное – притворство с картой могущественной. Если бы он догадался, что я бью наверняка, он бросил бы карты и не стал набавлять более. Но я сказал:

– Триста тысяч.

Это была сумма, в два раза превышающая мое состояние. Но я играл наверняка, я мог назначать миллионы, ничем решительно не рискуя.

Настала такая тишина, какая бывает, когда все уйдут. Но, подняв голову, я увидел бесчисленную портретную галерею алчбы, горевшей в глазах зрителей; черты их лиц стали ле-

сом, дрожащим от возбуждения. Мулат и я были для них божествами, держащими в руках гром.

– Чек, – хрипло сказал мулат, тяжело и остро взглядывая на меня.

Как ни всматривался, я не мог понять его состояния. Он смотрел, ничем не выдавая себя, положив обе руки горкой на свои карты и тупо смотря на стол посредине расстояния меж мною и им. Отложив карты, я стал писать чек, медленно и кругло выводя буквы, ровными строчками. Перед тем как подписаться, я сморщил нос, рассеянно взглянул на мулата и подмахнул: Эбенезер Сидней.

Когда я взглянул на него, то увидел, что мизинец его левой руки предательски дрогнул. Все стало ясно мне. Он волновался, потому что у него наверняка было каре. Он волновался от жадности, рассчитывая сорвать состояние. Как знаете вы, – мне волноваться не было никаких причин, и я мог разыгрывать сколько угодно вид человека, «дьявольски владеющего собой». Написав чек, я подал его крупье.

– Чек на триста тысяч долларов, королевскому банку в Энтвей, – громко сказал крупье. Гриньо, видимо, повеселел.

– Пятьсот тысяч, – небрежно заявил он, сдвигая на середину стола все деньги и чеки, какие лежали перед ним.

– Принимаю, – холодно сказал я.

Рокот восхищения обошел стол. Удар на полмиллиона долларов! Ронкур смотрел на меня взглядом птички, зрящей змею. Наступил момент открыть карты. Игроки, заключав-

шие пари, перестали дышать.

– Ну, – сказал я, смеясь, – Гриньо, выкладывайте ваше каре! Он перевернул карты, пристукнув кистью руки, так что туз отлетел в сторону. Но там их было еще три – каре из тузов, вот что было в его руках! Бешеный рев покрыл это движение, яростный взрыв облегчения со стороны поставивших на Гриньо. Казалось, вихрь разметал толпу, она смешалась и переместилась с быстротой нападения. Ронкур горестно побледнел, я видел в его изящном лице истинное, большое горе. Почти никогда не побивают такой карты. Он знал мои денежные дела, поэтому, спокойно достав чековую книжку, спросил вполголоса:

– Вам сколько, Сидней?

– Вы ошиблись, – сказал я, показывая свои пять с улыбающимся чертом и раскладывая их одна к одной. – Гриньо, нравится вам этот джентльмен?

Момент не поддается изображению. Я не слышал криков и воплей, так как наслаждался бесконечно выражением лица опешившего мулата.

– Ваша... – сказал он сквозь звуки, напоминающие вой. Затем он откинулся, глаза его закатились... он был в обмороке. Пока его выносили, крупье, сосчитав деньги, передал их мне, заметив, что не хватает десяти тысяч. Он вызвался навести справки и ушел, я же разговаривал с Ронкуром, окруженный множеством добровольных рабов, этих щегольски одетых парий каждого крупного притона, льнущих к зо-



лотой пыли.

Меж тем вернулся крупье, и я прочитал залитую вином записку Гриньо: «Немного денег я пришлю завтра, – писал он, – но полностью у меня не хватит. Но я пришлю, в расчет ваш, новую машину, С.С.77–7, я недавно купил ее. Если хотите. В противном случае вам придется ждать, пока дьявол придет ко мне».

– Что с вами? – спросил Ронкур, видя, что я встал. Я был против зеркала и, посмотрев в него, понял вопрос. Но мне было совершенно все равно, что он подумает обо мне. От моих ног медленно, с силой отяжеления, поднялся глубокий, смертельный холод. Возбуждение азарта исчезло. Я снова посмотрел на записку, спрашивая себя, почему Гриньо вздумал написать номер? Ронкур, еще раз внимательно взглянув на меня, взял записку.

– Ну, что же? – сказал он. – Теперь ясно, что вы излечитесь от своего страшного предубеждения, – сама судьба посылает вам красивый и быстрый экипаж.

– Как вы думаете, почему он написал номер?

– Машинально, – сказал Ронкур.

– В конце концов, я думаю то же. Хотите, мы пустим его в пропасть с горы?

– Но почему?

– Мне кажется, что так нужно, – сказал я, овладевая собой. В тот вечер владели мной страшные силы – мысли и желания сливались неразделимо.

– Смотрите, что это? Все повалили, бегут. – Ронкур взял меня под руку. – Посмотрим, где происшествие.

Действительно, зала вокруг пустела. Многие оставались, но многие, перекинувшись парой слов, возводили брови и быстро исчезали в голубом дыме сверкающей анфилады дверей. Я шагнул было за Ронкуром, но случилось, что любопытство наше было удовлетворено немедленно; три завсегда, издали махая руками, прокричали навстречу;

– Джокер убил Гриньо! Он умер от кровоизлияния в мозг!

– Как!? – сказал я. Противно некоторому возбуждению, поднявшемуся при этом известии, – оно холодно повернулось во мне; оно подействовало значительно слабее, чем записка с цифрой – такой многозначительной, такой глухой, молчащей и говорящей на языке вещей, нам недоступном, – я с ужасом заметил, что болтаю совершенный вздор, смеясь и отвечая невпопад тем, кто окружал меня в эту минуту. Между тем, трагическая гримаса обошла залы, на мгновение смутив суеверных и тех, у кого не совсем умерло сердце, после чего все стали по-прежнему отчетливо слышать оркестр, и движение восстановилось. Смеясь проходили пары. Рой женщин, окружив толстяка, масляно плывущего среди их назойливого цветника, улыбался так невинно, как если бы резвился в раю.

## 5

Видя, что я до крайности возбужден, и по-своему понимая мое состояние, Ронкур не удерживал меня, когда я направился к выходу. Я пожелал ему скорой удачи. Он остался за баккара.

В моем состоянии была черная, косая черта, вызванная запиской мулата. Эта черта резко пересекала пылающее поле моего возбуждения, – как ни странно, как ни противно моему изобретению, неожиданное богатство, казалось, не только приближает меня к Корриде, но ставит рядом с ней. Разумеется, такое вредное впечатление коренилось в собственной натуре ее. Она жила скверно, то есть была полным, послушным рабом вещей, окружавших ее. Эти вещи были: туалетными принадлежностями, экипажами, автомобилями, наркотиками, зеркалами и драгоценностями. Ее разговор включал наименования множества бесполезных и даже вредных вещей, как будто, отняв эту основу ее жизни, ей не к чему было обратить взгляд. Из развлечений она более всего любила выставки, хотя бы картин, так как картина, безусловно, была в ее глазах прежде всего – вещью. Она не любила растений, птиц и животных, и даже ее любимым чтением были романы Гюисманса, злоупотребляющего предметами, и романы детективные, где по самому ходу действия оно неизбежно отстает от предметов неодушевленных. Ее день был ве-

ликолепным образцом пущенной в ход машины, и я уверен, что ее сны составлялись преимущественно из разных вещей. Торговаться на аукционе было для нее наслаждением.

При всем том, я любил эту женщину. В Аламбо она появилась недавно; вначале приехал ее брат, открывший деловую контору; затем приехала она, и я познакомился с ней, благодаря Ронкуру, имевшему какие-то дела с ее братом. И около этого пустого существования легла, свернувшись кольцом, подобно большой собаке, моя великая непринятая любовь. Тем не менее, когда я думал о ней, мне легче всего было представить ее манекеном, со спокойной улыбкой блистающим под стеклом.

Но я любил в ней ту, какую хотел видеть, оставив эту прекрасную форму нетронутой и вложив новое содержание. Однако я не был столь самонадеян, чтобы безусловно положиться на свои силы, чтобы уверовать в благоприятный результат попыток. Я считал лишь, что могу и обязан сделать все возможное. Я, к сожалению, хорошо знал, что такое проповедь, если ее слушает равнодушное существо, само смотрящее на себя лишь как на сладкую физическую цель и мысленно переводящее весь искренний жар ваш в вымысле циничном, с насмешкой над бессилием вашим овладеть положением. Поэтому мой расчет был не на слова, а на действия ее собственных чувств, если бы удалось вызвать перерождение. Немного, – о, совсем немного хотел я: живого, проникнутого легким волнением румянца, застенчивой улыбки, те-

ни задумчивости. Мы часто не знаем, кто второй живет в нас, и второй душой мучительницы моей мог оказаться добрый дух живой жизни, который, как красота, сам по себе благо, так как заражает других.

Именно так я думал, так и передаю, не пытаюсь в этом – в священном случае придать выражениям схоластический оттенок, столь выгодный в литературном отношении, ибо он заставляет подозревать прием – вещь сама по себе усложняющая впечатление читателя. Я всегда думал об этой женщине с теплым чувством, а я знаю, что есть любовь, готовая даже на смерть, но полная безысходной тоскливой злобы. У меня не было причины ненавидеть Корриду Эль-Бассо. В противном случае я был бы навсегда потерян для самого себя. Я мог только жалеть.

У меня было время думать обо всем этом, когда быстро и с облегчением я удалялся от клуба в свете электрических лун, чрезвычайно счастливый тем, что не мог ответить мулату, так как неизбежно должен был сказать «да», то есть согласиться принять машину, из противоречия и вызова самому себе; нас всегда тянет смотреть дальше, чем мы опасаемся или можем. Благодаря печальному случаю, машина оставалась при нем, ненужная ему самому. Свежесть перелетающего крепким порывом морского ветра, опаживая лицо, несколько уравновесила настроение; уже готовый улыбнуться, я переходил улицу, почти пустую в тот час ночи, неторопливо и эластично. Меня заставил обернуться ровный звук

сыплющегося где-то вблизи песка. Я поскользнулся, и меня это спасло, так как мое тело, потеряв равновесие, шатнулось в сторону судорожными шагами как раз перед налетающим колесом. Еще не успело исчезнуть зрительное ощущение страшной близости, как, с пронзительным, взвизгивающим лаем, огромный серый автомобиль мелькнул в свете угла и скрылся в замирающем шипении шин. Его фонари были потушены, он был пуст. Шофера я не успел рассмотреть. Я не успел также заметить его номер.

При всем очень тщательном внимании к себе после этого происшествия я заметил, что мое сердце бьется лишь немного сильнее, что я почти не испугался. Я даже был чему-то отчасти рад, так как получил некоторое предупреждение. Ни одной мысли по этому поводу я в тот момент не мог отыскать в отчетливой форме; все они, крайне живые и многочисленные, напоминали перебор струн, намекающий уже на мелодию, но звучащий понятно лишь знающему мотив уху, — я же не знал мелодии. Вам знакома попытка оживить сон немедленно по пробуждении, когда его сцены ясно невидимы еще вами, и вы понимаете их, но не можете тотчас перевести понимание в мысль, меж тем смысл ускользает с быстротой взятой горстью воды, и улетучивается совершенною, как только полностью прояснится сознание? Подобного или почти подобного рода ощущения повернулись во мне. Я нанял фиакр, приказав ехать к себе, и прибыл в четыре ночи к подъезду, узнав, что еще не спят.

Здесь я жил гостем у семейства Кольмонс. Наши отцы вместе начинали делать богатство. Теперь дети их сошлись вместе, в одних стенах, жить для удовольствия и неопределенного приятного будущего. Я вошел, зная, что застану спор, танцы или концерт.

## 6

Завернув сначала к себе, я открыл бюро и уложил там свой выигрыш. Мне не хотелось сообщать о нем кому бы то ни было, по крайней мере теперь.

– В таком случае, – услышал я, подходя к двери столовой, знакомый голос Гопкинса – Гопкинс был адвокат, – его раздавило автомобилем. Вы знаете, как Сидней осторожен на этот счет. Между тем осторожные люди часто становятся жертвой именно того, чего они опасаются.

– Вы почти правы, – сказал я, входя. – Случайно не произошло именно так.

Дам не было. Моя сестра и жена старшего моего двоюродного брата, Ютеция, ушли давно спать. Старший кузен, Кишлей, и младший, Томас, сидели в обществе гостей, Гопкинса, Стерса и «Николая». Так звали газетного критика, недавно приступившего к возведению здания своей карьеры: его фамилия была так длинна и нелепа, что я не помнил ее.

Они пили. Окна были раскрыты. Рассказав случай с автомобилем, я некоторое время слушал рассуждения и соображения адвоката, долго объяснявшего мне, почему не надо откидываться назад, если набегает автомобиль, ответил «да» и умолк. Разговор, не задержавшись на мне, вернулся к своему руслу – то был футуризм, с ненавистью отвергаемый Гопкинсом; Николай смеялся над ним. Им противился



Томас и, как это ни было странно, – Кишлей, чье полное, добродушное лицо в момент методического, обдуманного и вкусного закуривания сигары казалось воплощением здоровых, азбучных истин.

– Всегда преследовали и осмеивали новаторов! – сказал Томас.

– Небольшая часть этих людей, конечно, талантливы, – возразил Гопкинс, – зато они, как это заметно по некоторым чертам их произведений, вероятно пойдут особой дорогой. Остальное – сплошная эпилепсия рисунка и вкуса.

– Я возмущен тем, что меня открыто и нагло считают дураком, – сказал Николай, – подсовывая картину или стихотворение с обдуманным покушением на мой карман, время и воображение. Я не верю в искренность футуризма. Все это – здоровые ребята, нажимающие звонок у ваших дверей и убегающие прочь, так как им сказать нечего.

– Но, – возразил Кишлей, – должна же быть причина, что это явление стало распространено? Причины должны корениться в жизни. Вы относитесь к этому, как Сидней к автомобилю; он ни за что не поедет в нем, хотя десятки и сотни тысяч людей пользуются им каждый день.

– Кишлей прав, – сказал я, – футуризм следует рассматривать только в связи с чем-то. Я предлагаю рассмотреть его в связи с автомобилем. Это – явление одного порядка. Существует много других явлений того же порядка. Но я не хочу простого перечисления. Недавно я видел в окне магазина

посуду, разрисованную каким-то кубистом. Рисунок представлял цветные квадраты, треугольники, палочки и линейки, скомбинированные в различном соотношении. Действительно, об искусстве – с нашей, с человеческой точки зрения – здесь говорить нечего. Должна быть иная точка зрения. Подумав, я стал на точку зрения автомобиля, предположив, что он обладает, кроме движения, неким невыразимым сознанием. Тогда я нашел связь, нашел гармонию, порядок, смысл, понял некое зловещее отчисление в его пользу из всего зрительного поля нашего. Я понял, что сливающимися треугольником цветные палочки, расположенные параллельно и тесно, он должен видеть, проносясь по улице с ее бесчисленными, сливающимися в единый рисунок сточных труб, дверей, вывесок и углов. Взгляните, прижавшись к стене дома, по направлению тротуара. Перед вами встанет короткий, сжатый под чрезвычайно острым углом, рисунок той стороны, на какой вы находитесь. Он будет пестрым смешением линий. Но, предположив зрение, неизбежно предположить эстетику – то есть предпочтение, выбор. В явлениях, подобных человеческому лицу, мы, чувствуя существо человеческое, видим связь и свет жизни, то, чего не может видеть машина. Ее впечатление, по существу, может быть только геометрическим. Таким образом, отдаленно – человекоподобное смешение треугольников с квадратами или полукругами, украшенное одним глазом, над чем простачки ломают голову, а некоторые даже прищуриваются, есть, надо по-

лагать, зрительное впечатление Машины от Человека. Она уподобляет себе все. Идеалом изящества в ее сознании должен быть треугольник, квадрат и круг.

– Черт возьми! – вскричал Гопкинс. – Не думаете же вы, что автомобиль обладает сознанием, душой?!

– Да, обладает, – сказал я. – В той мере, в какой мы надеваем его этой частью нашего существа.

– Поясните, – сказал Кишлей.

– Охотно, – сказал я. – Принимая автомобиль, вводя его частью жизни нашей в наши помыслы и поступки, мы безусловно тем самым соглашаемся с его природой: внешней, внутренней и потенциальной.

Этого не могло бы быть ни в каком случае, если бы некая часть нашего существа не была механической; даже, просто говоря, не было бы автомобиля. И я подозреваю, что эта часть сознания нашего составляет его сознание.

– Доказательства! – вскричал Николай.

– Вы могли бы с одинаковым правом потребовать доказательств, если бы я утверждал, что кошка видит иные цвета, чем мы. Между тем ни я, ни кошка не можем быть приведены к очной ставке, так как у нас нет взаимного понимания. Нет средств для этого. Однако животные должны иметь иные и, может быть, совершенно отличные, чем у нас, ощущения физические. Например, – стрекоза с ее десятками тысяч глаз. Согласитесь, что ощущения света при таком устройстве органа должны быть иными, чем наши.

– Неодушевленная материя, – сказал Кишлей. – Железо и сталь мертвы.

Я ничего не возразил на это. Мне показалось, что за окном крикнул автомобиль. Действительно, крик повторился ближе, затем под самым окном.

– Вы слышите? – сказал я. – Вот его голос – вой, отдаленно напоминающий какие-то грубые, озлобленные слова. Итак, у него есть голос, движение, зрение, быть может, – память. У него есть дом. На улице Бок-Метан стоит зайти в оптовые магазины автомобилей и посмотреть на них в домашней их обстановке. Они стоят блестящие, смазанные маслом, на цементном полу огромного помещения. На стенах висят их портреты – фотографии моделей и победителей в состязаниях. У него есть музыка – некоторые новые композиции, так старательно передающие диссонанс уличного грохота или случайных звуков, возникающих при всяком движении. У него есть наконец граммофон, кинематограф, есть доктора, панегиристы, поэты, – те самые, о которых вы говорили полчаса назад, люди с сильно развитым ощущением механизма. У него есть также любовницы, эти леди, обращающие с окон модных магазинов улыбку своих восковых лиц. И это – не жизнь? Довольно полное существование, скажу я. Кроме того, он занимается спортом, убийством и участвует в войне.

– Выходит, – сказал Николай, – что... Впрочем, я скажу короче:

некий автомобиль, покрытый грязью и ранами, вернулся с театра военных действий. Побрившись в парикмахерской, он отправился домой, где поставил в граммофон пластинку марша «За славой и торжеством» и приказал завести кинематографический аппарат с картиной «Автомобильные гонки меж Лиссом и Зурбаганом». От восторга у него лопнула шина.

– Ваш шарж показывает, что вы поняли меня, – продолжал я. – Взаимоотношения вещей, если они для меня безразличны, могут происходить так, как вытекает из их природы, как – мы этого не знаем. Но когда эти взаимоотношения наносят определенный рисунок на рисунок моей жизни, кладут нужные или вредные черты, там необходимо проследить связь явлений, чтобы знать, с какого рода опасностью имеешь дело. Берегитесь вещей! Они очень быстро и прочно поработают нас.

– Какие же это вредные черты? – спросил Томас. – Жизнь делается сложнее, быстрее, ее интенсивность возрастает беспрерывно. Этой интенсивности содействует техника. Не возвратиться же нам в дикое состояние?

С этого момента мои собеседники завладели разговором, и я терпеливо выслушивал их защиту автомобиля. Она состояла в том, что его скорость способствует быстрейшему обмену товаров, молниеносному прессованию деловых отношений и возможности перебрасываться в отдаленное место почти с быстротой чтения. Я выслушал их и ушел, посмеиваясь. У себя, оставшись один, я пересчитал деньги. Это было большое состояние. Меня тревожило немного, что я не испытываю головокружительного подъема – опьянения. Все впечатления звучали во мне тупо, как стук по толстому дереву. Я держал в руках деньги и понимал, что из состоятельного человека превратился в богатого, но думал о том, как о прочитанном в книге. Быть может, все мои желания были заслонены в тот момент главным желанием, главной и неотступной мыслью – о девушке. Кроме того, я очень устал, думая все эти дни об одном. Но я никак не мог бы выразить, даже на всех языках мира, – что такое это одно, грызущее и уничтожающее меня. Я вдумывался и понимал его, лишь как мучительное препятствие сознанию самого себя. Но определить его я не мог.

Я уснул с солнечным светом, пригретый и убаюканный им из-за крыш. Завтрашний, вернее, наступивший день следовало начать действием. Я приказал разбудить себя в три ча-

са. Мое изобретение – оно ждало – звало меня и ее. После долгого колебания я решился. Я поставлю ее лицом к лицу с Живой Смертью, ее, – Мертвую Жизнь.

## 8

Мое знакомство с Корридой Эль-Бассо носило характер крайнего напряжения. Когда я не видел ее, я, при всей любви к этой девушке, мог думать о ней, как вы уже знаете, беспристрастно; я мог даже непринужденно вести не обременяющий ее разговор. Но в ее присутствии я чувствовал лишь крайне стесняющее и связывающее меня напряжение. Это происходило не столь от ее красивой и легкой внешности, овладевавшей мной повелительным впечатлением, сколько от сознания несоответствия моего душевного темпа с ее темпом души; ее темп был полон перебоев и дисгармонии, в то время как мой медленно, ровными и острыми колебаниями звучал непримиримо всему, что не было моим настроением или случайно не отвечало текущему настроению. В то время как другие почти сразу, легко осваивались и шутили с ней, я должен был оставаться в тени, так как хотел видеть ее лишь в том полном, сосредоточенном, исключительном настроении любви, в каком находился сам и которое перебить пустой болтовней казалось мне противоестественным, почти преступным. Поэтому вероятно я заставлял ее часто скучать. Но у меня не было выхода. Я хорошо знал, что не сумею перестать быть самим собой так искусно, чтобы это не обнаружилось тотчас же фальшью и ответной притворностью. Бессознательно я хотел, чтобы она ни на мгновение не забывала



мою любовь, чувствуя, что я связан, рассеян и неловок единственно от любви к ней.

По всему этому я сам тяготился долго оставаться в ее присутствии, если у нее был еще кто-нибудь, кроме меня. Мое напряжение в таких случаях часто раздражалось сильной глубокой тоской, после чего невыносимо было уже оставаться; мрачное лицо, в конце концов, может вызвать страх и отвращение. Но я знал, каким был бы я, если бы окончилось ее сопротивление, если бы она сказала мне «ты».

В половине пятого я взял трубку телефона; мне было невесело, меж тем я должен был говорить с веселым оживлением затейника. Но я выдержал роль.

Услышав ее голос, я увидел – в себе – и ее лицо, с большим выражением раздражительно полуоткрытого рта, с всегда немного сонными и рассеянными глазами. Ее детский лоб – в другом конце города – внушал желание погладить его.

– Так это вы, – сказала она, и я вздрогнул – так приветливо прозвучал голос, – о, я очень рада, – я должна вас поздравить.

– С чем? – Но я уже знал, что она хочет сказать.

– Говорят, вы выиграли миллион долларов.

– Нет, – только половину названной суммы.

– Недурно и это. Теперь вы, надо думать, поедете путешествовать?

– Нет, я не поеду. Но я предлагаю вам – клянусь, – редкое удовольствие. Я окончил свое изобретение. Если вы ничего

не имеете против, я покажу вам его первой; никто ничего не знает об этом.

– О! Я хочу! Хочу! – вскричала она. – И как можно скорее!

– В таком случае, – сказал я, – если вы свободны, вам предстоит небольшая прогулка верхом в ущелье Калло. Это не далее пяти миль. У меня есть лошадь, вторую мне дает кузен Кишлей.

– Отлично, – сказала она после небольшой паузы. – Я согласна. Вы, право, очень добры. Через полчаса я буду у вас.

– Я жду.

На этом закончился разговор. Пока седлали лошадей, я думал, – что может произойти из всего этого? Мне показалось, что я не имею права поступать так. Но это не расхолодило меня. Напротив, я укрепился еще более в своем решении, – ибо, может быть, всю жизнь сожалел бы о своей слабости. Хуже не могло быть, – лучшему я верил.

В это время начал звонить телефон. Звонок раздался на какой-то приятной, нежной и задумчивой минуте размышлений моих. Я взял трубку.

Кто это говорил со мной? Вкрадчивый, напряженный голос, как просьба о пощаде, и такой тихий, такой отчетливый, что, казалось, можно отложить трубку, продолжая слышать его! В тот день я проснулся с ощущением тумана, – день был торжествующе ярок, но, казалось, невидимый, спокойный туман давит на мозг. Теперь это своеобразное ощущение усилилось.

То, что я услышал, напоминало окончание разговора; так бывает, если говорящий вам предварительно dokonчит говорить другому лицу. Этот отчетливый, стелющийся из невидимого пространства голос сказал: «... пройдет очень немного времени. – Затем послышалось обращение ко мне: – Квартира Эбенезера Сиднея?»

– Это я, – невольно я отстранил трубку от уха, чтобы она не касалась кожи, – так неестественно и отвратительно близко, как бы в самой руке моей, ковырялся этот металлический голос. Я повторил: – С вами говорит Сидней, кто вы и что желаете от меня?

– Мое имя вам неизвестно, я говорю с вами по поручению скончавшегося вчера Эммануила Гриньо, мулата. Несколько мелких дел, оставшихся им не выполненными, он поручил мне. В число их входит просьба переслать вам выигранный четырехместный автомобиль системы Леванда. Поэтому я прошу вас назначить время, когда покорнейший ваш слуга имеет исполнить поручение.

Я закричал, я затопал ногами, так мгновенно поразил меня неистовый гнев. Крича, я весь содрогался от злобы к этому неизвестному и, если бы мог, с наслаждением избил бы его.

– Подите прочь! – загремел я, – идите, я вам говорю, к черту! Мне не нужен автомобиль! Гриньо мне ничего не должен! Возьмите автомобиль себе и разбейте на нем лоб! Мерзкий негодяй, я вижу насквозь ваши намерения!

Но, сквозь мой крик, когда я задышался и умолкал, – одновременно с моими бешеными словами, лилась речь человека, очевидно, нимало не тронутого этой бурей по проволоке. Бесстрастно и убедительно ввинчивал он ровный свой тонкий голос в мое волнение. Я слышал, изнемогая от ярости: – «примите в соображение», – «из чувства деликатности», – «сама природа случая» – и другое подобное; так методически, покойно, веревка скручивает руки вырывающегося из ее петель человека. Я бросил трубку и отошел. Через несколько минут слуга доложил, что лошади готовы.

Прекрасный день! Даже туман, о котором я говорил, как будто рассеивался по временам, чтобы я мог полно вздохнуть, однако ж, по большей части, я не переставал чувствовать его ровное угнетение. Мне хотелось встряхнуть головой, чтобы отделаться от этого ощущения. Слуга ехал сзади на второй лошади. Приблизясь к дому, где жила Коррида, я заметил ее улыбающееся лицо: она была на балконе, смотря вниз и щекой припав к рукам, охватившим ограду балкона. Она издали стала махать платком. Я подъезжал в приподнятом и несколько глупом состоянии человека, с которым хорошо потому, что он может быть полезен, что он – богат. Я не обманывал себя. Еще никогда Коррида Эль-Бассо не была так любезна со мной. Но я не хотел останавливаться на этом; моя цель была близка, хотя бы благодаря обаянию крупного выигрыша.

Оставив лошадей, я вошел твердым и спокойным шагом.

Теперь, когда положением владел я, вдруг исчезла связывающая подавленность, – ощущение проклятия чувства, тяготеющего над нами, если мы, сидя рядом с любимой, испытываем одиночество. Мной стала овладевать надежда, что затеянное будет иметь успех, смысл.

Я поцеловал ее узкую руку и посмотрел в глаза. Она улыбалась.

– У вас довольный вид, – сказала Коррида, – не мудрено – два успеха, – что более важным считаете вы? Но, может быть, изобретение принесет вам еще более денег?

– Нет, оно мне не принесет ни копейки, – возразил я, – напротив, оно может меня разорить.

– Как же это?

– Если не оправдает моих надежд; оно еще не было в деле; не было опыта.

– Что же представляет оно? И какой цели должно служить?

– Но через час вы сами увидите его. Не стоит ли подождать?

– Правда, – сказала она с досадой, опуская вуаль и беря хлыст. Она была в амазонке. – Оно красиво?

– На это я могу вам ответить совершенно искренне. Оно прекрасно.

– О! – сказала она, что-то почувствовав в тоне моем. – Итак, мы отправляемся в мастерскую?

– Ну да, – и я не удержался, чтобы не подзадорить. – В

мастерскую природы.

– Вы, правда, мистификатор, как говорят о вас. Все мистификаторы не галантны. Но едем.

Мы вышли, сели, и я помог ей.

– У меня отличное настроение, – заявила она, – и ваши лошади хороши тоже. Как имя моей?

– Перемена. – Имя странное, как вы сами.

– Я очень прост, – сказал я, – во мне странное только то, что я всегда надеюсь на невозможное.

Выехав за черту города, мы пустились галопом и через полчаса были у подъема горной тропы, по которой лежал путь к ущелью Калло. Наш разговор был так незначителен, так обидно и противоестественно мелок, что я несколько раз приходил в дурное расположение духа. Однако я никак не мог направить его хотя бы к относительной близости между нами, – хотя бы вызвать сочувственное мне настроение по отношению к пейзажу, принимавшему с тех мест, где мы ехали, все более пленительный колорит. На все, что ее не интересовало, она говорила: «О, да!» или «В самом деле?» – с безучастным выражением голоса. Но мой выигрыш продолжал интересовать ее, и она часто возвращалась к нему, хотя я рассказал ей уже все главное об этой схватке с Гриньо. «О, я его понимаю!» – сказала она, узнав, что мулата хватил удар. Но мой отказ от автомобиля вызвал глубокое, презрительное удивление, – она посмотрела на меня так, как будто я сделал что-то очень смешное, неприятно смешное.

– Это все та ваша мания, – сказала она, подумав. – Я столько уже слышала о ней! Но я – люблю эту увлекающую быстроту, люблю, когда распирает воздухом легкие. Вот жизнь!

– Быстрота падения, – возразил я. – Дикари очень любят подобную быстроту. То, что вы, кажется, считаете признаком своеобразной утонченности, есть простой атавизм. Все раз-

влечения этого рода – спорт водный, велосипедный, все эти коньки, лыжи, американские горы, карусели, тройки, лошадиные скачки, – все есть разрастающееся увлечение головокружительными ощущениями падения. В скорости есть предел, за которым движение по горизонтальной превращается в падение. Вы наслаждаетесь чувством замирания при падении. И цель людей, рассуждающих как вы, – это уподобить движение падению. Что может быть более примитивно? И, так сказать, – бесцельно примитивно?

– Но, – сказала она, – весь темп нынешней жизни... Пестрота стала нашей природой.

– Совершенно верно, и очень худо, что так. Однако именно то, что совершается медленно, конечно, относительно медленно, так как мерила быстроты различны по природе своей, в зависимости от качества движения, – именно это наиболее ценно. Быстрота агента компании, совершающей торговые обороты, увеличивает количество, но не качество достигаемого, например, по сбыту и выделке коленкора, но пусть он попробует с его автомобильной быстротой расположить и распространить дуб, простой дуб. Деревцо это растет столетиями. Корова вырастает в два года. Настоящий, вполне сложившийся человек проделывает этот путь лет в тридцать. Алмаз и золото не имеют возраста. Персидские ковры создаются годами. Еще медленнее проходит человек дорогой науки. А искусство? Едва ли надо говорить, что его лучшие произведения видят, иногда, начало роста бороды мастера,



в конце же осуществления своего подмечают и седину. Вы скажете, что быстрое движение ускоряет обмен, что оно двигает культуру?! Оно сталкивает ее. Она двигается так быстро потому, что не может удержаться.

– Не знаю, – возразила Коррида, – может быть, вы и правы. Но жить надо легко и быстро, не правда ли?

– Если бы вы умерли, – спросил я, – а затем вновь родились, помня, как жили, – вы продолжали бы жить так, как теперь?

– Ваш вопрос мне не нравится, – холодно ответила она. – Я живу плохо? Если даже так, какое право имеете вы тревожить меня?

– Это не право, а простое участие. Впрочем, я виноват, а потому должен загладить вину. Через...

– Нет, вы не увильнете! – крикнула она, остановив лошадь. – Это уже не первый раз. Какая цель ваших вопросов?

– Коррида, – сказал я мягко, – если вы будете так добры, что, оставив пока сердиться, ответите мне еще на один вопрос, но только совершенно искренне, – даю вам слово, я так же искренно отвечу вашему раздражению.

Мы уже приближались к ущелью, из развернутой трещины которого разливался призрачный лиловый свет, полный далекой зелени. Смотря туда и припоминая, что хотел сделать, я сразу сообразил, что мой вопрос преждевременен, однако я хотел убедиться. Туман понемногу рассеивался (я говорю о внутреннем тумане, мешавшем мне ясно сообра-

жать), и я с яркостью гигантской свечи видел все чудеса, вытекающие из моего замысла. Поэтому я не колебался.

– Я жду, – сказала Коррида.

– Скажите мне, – начал я (и это останется между нами), – почему, с какой целью ушли вы из... магазина?

Сказав это, я чувствовал, что бледнею. Она могла догадаться. У вещей есть инстинкт, отлично помогающий им падать, например, так, что поднять их страшно мешает какой-нибудь посторонний предмет. Но я уже приготовился перевести свои слова в шутку – придать им рассеянный, любой смысл, если она будет притворно поражена. Я внимательно смотрел на нее.

– Из ма-га-зи-на?! – медленно сказала Коррида, отвечая мне таким пристальным, глубоким и хитрым взглядом, что я вздрогнул. Сомнений не могло быть. К тому же, цвет ее лица внезапно стал белым, не бледным, а того матового белого цвета, какой присущ восковым фигурам. Этого было довольно для меня. Я рассмеялся, я не хотел более тревожить ее.

– Более у меня нет вопросов, – сказал я, – я говорю о встрече с вами вчера, когда вы вошли в магазин. Вы тотчас вышли, и я не хотел снова подходить к вам.

– Да... но это очень просто, – ответила она, стараясь что-то сообразить. – Я не застала модистку. Но вы хотели сказать не это.

– Вы просто смутили меня резким отпором. Я спросил первое, что пришло на мысль.

Затем, не давая ей оставаться при подозрении, – если оно было, – я возвратился к игре с мулатом, рассказывал подробности стычки так юмористически, что она смеялась до слез. Мы ехали по ущелью. Слева тянулась глубокая поперечная трещина, подъехав к которой, я остановил лошадь.

– Это здесь, – сказал я.

Коррида оставила седло, и я привязал лошадей.

– Меня несколько тревожит эта таинственность, – сказала она, оглядываясь, – далеко ли тут идти?

– Шагов сто. – Чтобы она не беспокоилась, я стал снова шутить, приравнивая нашу прогулку к ветхим страницам уголовных романов. Мы пошли рядом; гладкое дно трещины не замедляло шагов, и скоро сумерки щели рассеялись, – мы подошли к ее концу, – к обрыву, висевшему отвесной чертой над залитой солнцем долиной, где, далеко внизу, крылись, подобно стаям птиц, фермы и деревни. Огромное, голубое пространство било в лицо ветром. Здесь я остановился и показал рукой вниз.

– Вы видите? – сказал я, вглядываясь в прекрасное прищуренное лицо.

– Вид недурен, – нетерпеливо ответила она, – но, может быть мы все-таки отправимся в вашу лабораторию?!

Безумный восторг овладевал мной. Я взял ее руки и поцеловал их. Кажется, она была так изумлена, что не сопротивлялась. Уже двинул меня внутренний толчок; бессознательно оглянулся я на трещину позади нас, скрыться в которой

было делом одной секунды, и загородил ее. Но мы одновременно кинулись к трещине, – по крайней мере, когда я охватил рукой ее талию, она была уже наполовину сзади меня и уперлась одной рукой в мою грудь. Ее лицо было бело, мертво, глаза круглы и огромны. Другая рука что-то быстро делала сбоку, где был карман. Задыхаясь, я тащил ее к обрыву, крича, убеждая и умоляя.

– Это один момент! Один! И новая жизнь! Там твое спасение!

Но было поздно – увы! – слишком поздно. Она вырвалась волчком невероятно быстрых движений, подняв свой револьвер. Я видел, как он дернулся в ее руке, и понял, что она выстрелила. У моего левого виска как бы повис камень. Не зная, – не желая этого, – судорожно противясь падению, – я упал, видя, как от моего лица поспешно отпрянули маленькие, лакированные ноги. Но я успел схватить их и дернул.

Она упала рядом со мной; при падении револьвер выскок из ее руки. Я мог видеть его, повернув голову. Если бы она не мешала мне, хватаясь за мои руки, я непременно достал бы его. Но у нее была кошачья изворотливость. Схватив за талию и прижимая к себе, чтобы она не вскочила, левой рукой я уже касался револьвера, стараясь подцарапать его, но она ломала мою руку у кисти, отводя пальцы. Наконец, удар по руке камнем сделал свое. Скользнув, как сжатая рукой рыба. Коррида овладела револьвером, – здесь силы оставили меня. Я мог только лежать и смотреть.

Когда она поднялась, вскочила, револьвер был все время направлен на меня. Последовало молчание – и дыхание, – общее наше дыхание, слышное, как крик.

– Что же это! – сказала она. – Теперь говорите, слышите?!

Я не терял времени, чтобы она знала, чего лишается.

– Да, – сказал я, – это и есть мое изобретение. Вы видели лучезарный мир? Он зовет. Итак, бросимся туда, чтобы воскреснуть немедленно. Это нужно для нас обоих. Вам нечего притворяться более. Карты открыты, и я хорошо вижу ваши. Они закапаны воском. Да, воск капает с прекрасного лица вашего. Оно растопилось. Стоило гневу и страху отразиться в нем, как воск вспомнил прежнюю свою жизнь в цветах. Но истинная, истинная жизнь воспламенит вас только после уничтожения, после смерти, после отказа! Знайте, что я хотел тоже ринуться вниз. Это не страшно! Нам следовало умереть и родиться!

– Куда вы ранены? – сурово спросила она.

– В голову возле уха, – сказал я, трогая мокрыми пальцами мокрые и липкие волосы. – ступайте! Что вам теперь я; ваше место незанято.

Она, приподняв платье, обошла меня сзади, и я почувствовал, как моя голова приподнимается усилием маленькой, холодной руки. Послышался разрыв платка. Она туго стянула мою голову, затем снова перешла из тени к свету. Я же лежал, совершенно ослабев от потери крови, и безразлично принял эту заботу. Меня ужасало, что я не достиг цели.

– Можете вы пройти к лошади? – спросила Коррида. – Ес-

ли можете, я вам помогу встать. Если же нет, – лежите и постарайтесь быть терпеливым; я скажу, чтобы за вами приехали.

– Как хотите, – сказал я. – Как хотите. Я не могу идти к лошади. Теперь мне все равно – жить или умереть, потому что я навсегда лишился вас. Может быть, я умру здесь. Поэтому будем говорить прямо. Нашу первую встречу вы должны помнить не по Аламбо, – нет; в Глен-Арроле состоялась она. Вы помните Глен-Арроль? Старик открывал кисею, показывая вас в ящике, это был воск с механизмом внутри, – это были вы, – вы спали, дышали и улыбались. Я заплатил за вход десять центов, но я заплатил бы даже всей жизнью. Как вы ушли из Глен-Арроля, почему очутились здесь – я не знаю, но я постиг тайну вашего механизма. Он уподобился внешности человеческой жизни силой всех механизмов, гремящих вокруг нас. Но стать женщиной, поймите это, стать истинно живым существом вы можете только после уничтожения. Я знаю, что тогда ваше сердце дрогнет моей любовью. Я полумертв сам, движусь и живу, как машина; механизм уже растет, скрежещет внутри меня; его железо я слышу. Но есть сила в самосвержении, и, воскреснув мгновенно, мы оглушим пением сердец наших весь мир. Вы станете человеком и огненной сверкнете чертой. Ваше лицо? Оно красиво и с желанием подлинной красоты вошли бы вы в земные сады. Ваши глаза? Блеск волос? Характер улыбки? – Увлекающая энергия, и она сказала бы в жизненном плане вашем. Ваш

голос? – Он звучит зовом и нежностью, – и так поступали бы вы, как звучит голос. Как вам много дано! Как вы мертвы! Как надо вам умереть!

Говоря это, я не видел ее. Открыв глаза, я осмотрелся с усилием и никого не увидел. Проклятие! Ее сердце могло перейти от простых маленьких рычагов к полному, лесистому пульсу, – к слезам и радости, восторгу и потрясению, – наконец оно могло полюбить меня, сгоревшего в огне удара и ставшего смеющимся, как ребенок, – и оно ушло! Уверен, что она не хотела вспоминать Глен-Арроль. Правда, в том городишке на нее смотрели лишь уродливые подобия людей, но все-таки...

Сделав усилие, я приподнялся и сел. Моя голова не кружилась, но было такое ощущение, что она недостаточно поднята, – что она может упасть. Я сделал попытку подогнуть ноги, желая тем облегчить дальнейшее движение, и успел в этом... Наконец, я встал, хватаясь за стену, и двинулся. Мне хотелось домой, чтобы успокоиться и обдумать дальнейшее. Как я понимал, рана моя не касалась мозга, поэтому у меня не было опасения, что я свалюсь по дороге в состоянии более тяжелом, чем был. Я побрел, держась за неровные камни трещины и временами теряя равновесие, так что должен был останавливаться.

Пока я шел, сумерки (уже стемнело), распространяясь безвыходной тенью, сменились того рода неизъяснимо волнующим освещением, какое дает луна при переходе днев-



ного света к магическому, призрачному мраку. Пройдя трещину, я увидел очарованный лог ущелья в блеске чистого месяца; дно, усеянное камнями, круглые тени которых казались черными козырьками белых фуражек, – было как ложе гигантской реки, исчезнувшей навсегда. Лошади исчезли. – Восковая взяла мою лошадь, думая, без сомнения, что я умер. Я не верил ее обещанию прислать за мной, скорее мне могли подослать убийц.

Я потрогал платок, затем снял его. Легкий жар, боль и ощущение стянутости кожи все еще были там, куда ударила пуля, но кровь уже не текла. Заподозрив, что пропитанный кровью платок может что-то сказать, я рассмотрел на свет метку. Это были не ее инициалы. Я увидел знаки, неизвестные алфавитам нашей планеты, – и понял, что никогда не смогу узнать, какая природа существа, употребляющего подобные начертания.

– Коррида! – закричал я, – Коррида! Коррида Эль-Бассо! Я люблю, люблю, люблю тебя, безумная в холодном сверкании своем, недоступная, ибо не живая, – нет, тысячу раз нет! Я хотел дать тебе немного жизни своего сердца! Ты выстрелила не в меня, – в жизнь, ей ты нанесла рану! Вернись!

И эхо, наметив «рри» из ее имени, упорно рокотало где-то за спиной высоких камней: звуки, напоминающие отлетающий треск мотора. Меня не оставляло воспоминание о Глен-Арроле, где я в первый раз увидел ее. Да, – там, на возвышении, в белом широком ящике под стеклом лежала она,

вытянув и скрестив ноги, под газом, среди пыльных цветов. Ее ресницы вздрагивали и опускались; легкая, как лепестки, грудь дышала с тихим и живым выражением. Чудилось, вот откроются эти разливающие улыбку глаза; стан изогнется в лукавой миловидности трепетного движения, и, поднявшись, скажет она великое слово, какое заключено в молчании. Теперь, с молчаливого попущения некоторых, она – среди нас, обещая так много и убивая так верно, так медленно, так безнадежно.

Томясь, вздрагивая и шатаясь, прошел я ущелье и заметил это, только когда прошел. Среди зеленого серебристого моря холмов вилось несколько троп; одна из них была круче, и я скатился по ней к лежащему ниже шоссе. Здесь, несколько в стороне, стоял дом, о котором можно только сказать стихами Грювда: «Он был беден и спал». Перешагнув низкую каменную ограду, я высмотрел, что окно не прикрыто, и сунул за стекло свой выигрыш, что-то опрокинув этим движением. Кто жил здесь? Какую силу разбужу я наутро ненужным мне подарком моим? Я знаю только, что на земле надо оставлять крупные следы; малый след скоро зарастает травой. Наутро будет крик, шум, споры и изумление, трясущиеся поджилки, вопли, может быть заболевание от восторга, – что до того? – это жизнь, ее судорога, гримаса, вой и улыбка, – всякая жизнь хороша.

Луна взошла выше; ее круглый скелет свел глаза вниз, выбелив до горизонта шоссе. Шоссе в том месте лежало рас-

тянутым римским V, – столь растянутым, что оно напоминало скорее середину двойного изгиба лука. Стоя на возвышении дороги, я видел, как противоположное далекое возвышение пересекалось темной чертой. Там возникла и стала расти точка; она увеличивалась, как расплывающееся по бумаге чернильное пятно; пятно сползло к центру вогнутости с волнующей меня быстротой. Некоторое время я шел навстречу явлению, однако оно быстро остановило меня. Я не ошибся – серый автомобиль уже поднимался навстречу мне с той неприятной легкостью автомата, которая уничтожает обычное представление об усилении. Свернув к кустам, я притаился в их сырости; теперь меж мной и автомобилем оставалось столь небольшое расстояние, что я мог рассмотреть людей, – мог сосчитать их. Их было четверо и тот самый шофер в очках, которого я видел вчера. Они осматривались; один что-то сказал другому, когда машина пронесла рыкающий треск свой мимо меня.

Все было для меня ясно теперь. Это началась охота, месть может быть, низменная и ужасная. Как напечатанные, стояли в воздухе те буквы и цифры, какие увидел я, изнемогая от ярости, и эти буквы были «С.С.», цифры те были «77–7». Воистину, я был близок к безумию. Трясаясь, как будто я уже был схвачен, я искал помраченными движениями иной дороги, чем та, какой уже завладел враг мой; я спотыкался в кустах, но идти не мог. Ямы и корни так тесно сплелись между собой, что я шел, все время словно проваливаясь сре-

ди груд хвороста; сухой терн цапал за платье. Кроме того, я шел с шумом, опасным для меня в смысле погони: иные ямы были так глубоки, что я падал с болезненным сотрясением во всем теле.

Остановясь и отдышавшись, я вновь приблизился к шоссе и выглянул. Дорога была пуста. Ни слева, ни справа не доносилось ни малейшего шума; поэтому, зная, что всегда могу скрыться в кусты, я вышел на шоссе с целью пробежать как можно быстрее возможно большее расстояние.

Итак, я побежал. Некогда я бегал так хорошо, что выигрывал в состязаниях. Искусство бегать не изменило мне и теперь, – дорога правильными толчками мчалась подо мной взад; быстрое движение воздуха охлаждало разгоряченное лицо. Между тем я очень устал, но я не позволял утомлению осилить себя.

Из этого состояния меня вывела выбоина, – небольшая черная яма, заметив которую впереди, я с изумлением установил, что не могу достигнуть ее с той скоростью, какую принял мой бег. Будучи невдалеке, она приближалась так медленно, как если бы обладала способностью произвольно увеличивать расстояние. И тогда, с тоской оглянувшись, я понял, что не бегу, а иду, еле волоча ноги; довольно было этого обратного толчка – я сел, но не мог даже сидеть; склонясь на руки, лицом в сторону ущелья, услышал я по отзвукам отдаленной дрожи земли, что погоня вернулась. Не прошло двух минут, как серый автомобиль начал налетать изда-

ли, – ко мне, готовому принять последний удар.

Я чувствовал, что бессилён пошевелиться. Я был так иступленно, бесконечно слаб, что не ощущал даже страха. Страх мог спокойно сидеть на моей шее сколько хотел, без всякой надежды вызвать малейшее искажение лица и души. Я был неподвижен, распластан, был как сама дорога. Твёрдой воображённой улыбкой встречал я приближение свистящих колёс. Смерть – вместо солнечной, живой пропасти ликующего бессмертия – уже тронула моё лицо светлой косою луча, протянутого напёрез моим телом, – как вдруг эта железная кошка, несущаяся наперерез моего тела, застучала глухим громом, свернула и остановилась. Из неё выбежали четверо, подняли меня и перенесли на сиденье. Лишь двинув рукой, я тотчас сполз с него, перестав видеть, почти перестав слышать, – казалось мне, что глубоко под землёй рвут толстый брезент.

Я очнулся в высокой небольшой комнате, с подозрительной тишиной вокруг и с глухой дверью. Сам я лежал на кровати, имея слева от себя небольшой столик, на нем стояли цветы – чрезвычайно искусная подделка: их лепестки (я их нюхал и трогал) обладали точь-в-точь таким же влажным холодком и такой же скользкой мягкостью, как настоящие, – они даже пахли, как настоящие. Дотронувшись до головы, я почувствовал, что она забинтована. Под потолком опускала круглую тень зеленая лампа. Себя же я чувствовал довольно сильным, чтобы говорить и требовать объяснения по поводу моего плена. Увидев провод звонка, я нажал кнопку.

Дверь открылась, и появился человек, которого я видел, несомненно, первый раз в жизни. Он был плотен и прям, с решительным, квадратным лицом и неприятно ясным взглядом, через очки. Его покровительственная улыбка, очевидно, относилась ко мне, так как моя беспомощность и моя слабость были ему приятны.

– Кто бы вы ни были, – сказал я, – ваша обязанность немедленно объявить мне, где я нахожусь.

– Вы в квартире доктора Эмерсона, – сказал он, – я – Эмерсон. Лучше ли вам теперь?

– Меня похитили, – ответил я таким тоном, чтобы было ясно мое желание прежде всего знать, что произошло за вре-

мя беспамятства. – Кто вы – друг или враг? Зачем я приведен сюда?

– Я вас прошу, – сказал он с удивительной невозмутимостью, – быть совершенно спокойным. Я друг ваш; мое единственное желание – как можно скорее помочь вам выздороветь.

– В таком случае, – и я встал, свесив с кровати ноги, – я немедленно уйду отсюда. Я достаточно здоров. Ваши действия будут известны королевскому прокурору.

Он тоже встал и позвонил так быстро, что я опоздал схватить его за руку. Немедленное появление трех рослых людей в белых колпаках и передниках заставило меня откинуться на подушку в прежней позе – сопротивление четверым было немислимо.

Лежа, я смотрел на Эмерсона с отчаянием и негодованием.

– Итак, вы в заговоре со всеми другими, – сказал я, – хорошо, – я бессилён. Уйдите, прошу вас.

– О каком заговоре говорите вы? – спросил он, делая знак людям выйти. – Здесь нет никакого заговора; вам предстоит лечение и отдых.

– Вы притворяетесь, что не понимаете. Между тем, – и я описал рукой в воздухе круг, – дело идет о заговоре окружности против центра. Представьте вращение огромного диска в горизонтальной плоскости, – диска, все точки которого заполнены мыслящими, живыми существами. Чем ближе к

центру, тем медленнее, в одно время со всеми другими точками, происходит вращение. Но точка окружности описывает круг с максимальной быстротой, равной неподвижности центра. Теперь сократим сравнение: Диск – это время, Движение – это жизнь и Центр – это есть истина, а мыслящие существа – люди. Чем ближе к центру, тем медленнее движение, но оно равно по времени движению точек окружности, – следовательно, оно достигает цели в более медленном темпе, не нарушая общей скорости достижения этой цели, то есть кругового возвращения к исходной точке.

По окружности же с визгом и треском, как бы обгоняя внутренние, все более близкие к центру, существования, но фатально одновременно с теми, описывает бешеные круги ложная жизнь, заражая людей меньших кругов той лихорадочной насыщенностью, которой полна сама, и нарушая их все более и более спокойный внутренний ритм громом движения, до крайности удаленного от истины. Это впечатление лихорадочного сверкания, полного как бы предела счастья, есть, по существу, страдание исступленного движения, мчащегося вокруг цели, но далеко – всегда далеко – от них. И слабые, – подобные мне, – как бы ни близко были они к центру, вынуждены нести в себе этот внешний вихрь бессмысленных торопливостей, за гранью которых – пустота.

Меж тем, одна греза не дает мне покоя. Я вижу людей неторопливых, как точки, ближайšie к центру, с мудрым и гармоническим ритмом, во всей полноте жизненных сил,



владеющих собой, с улыбкой даже в страдании. Они неторопливы, потому что цель ближе от них. Они спокойны, потому что цель удовлетворяет их. И они красивы, так как знают, чего хотят. Пять сестер манят их, стоя в центре великого круга, – неподвижные, ибо они есть цель, – и равные всему движению круга, ибо есть источник движения. Их имена: Любовь, Свобода, Природа, Правда и Красота. Вы, Эмерсон, сказали мне, что я болен, – о! если так, то лишь этой великой любовью. Или...

Взглянув на скрипнувшую дверь, я увидел, что она приоткрылась. Усатое, хихикающее лицо выглядывало одним глазом. И я замолчал.

Эту рукопись, с вложенным в нее предписанием к начальнику Центавров немедленно поймать серый автомобиль, а также сбежавшую из паноптикума восковую фигуру, именующую себя Корридой Эль-Бассо, я опускаю сегодня ночью в ящик для заявлений.